

все живые краски и биения. Это все равно что передавать мозаику булыжником или оркестровую симфонию изображать одним пальцем, и притом на фальшивом инструменте. Вот, например, мы имеем множество терминов приблизительно одного содержания: духовный, умный, премирный, словесный, разумный, пренебесный, небесный, горный, мысленный, святой и так далее, и так далее. Сколько их! И все они — «трансцендентны». Но во всяком случае, не дожидаясь сколько-нибудь полного обследования области философских терминов, нам, хотя бы ради большей плотности нашей мысли о культовом источнике ее, необходимо просмотреть в виде примера некоторые из терминов. Но вместе с тем этот, даже обычный, обзор подготовит нам понимание языка, без которого едва ли возможно обойтись при обсуждении литургическо-философских вопросов и понятий.

Философская терминология

Какое пустое, ничему не соответствующее слово $\mu\eta\ \delta\upsilon$ — «небытие»! Но в конкретном религиозном мышлении как без него обойтись? $\mu\eta\ \delta\upsilon$ — все то, что не входит в состав сознания, что из него извергается, то есть что не относится к предмету ориентировки сознания, то есть внекультурное. Небытие — вне-бытие, тьма внешняя, то есть вне Бога, — тьма же, ибо не просвещена светом Истины — умным — не опознана и не распознана — и по существу не может быть познана, и как не имеющая в себе ничего умного, — геенна. Небытие в собственном смысле слова, предельно. — это последнее внебытие, то есть бытие вне Бога, во тьме внешней. А таковое — есть только отрицательная ориентировка на Бога. Относительное небытие — небытие на земле — есть извержение из церковной жизни, внецерковное, внекультурное бытие, анафема. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет проклят! — маранафа!» Как же может он не быть извержен вон, если он, ставши вне точек определения, потерял свою ориентировку в бытии и выпал из него? Небытие — отлучение от бытия — интеллигентское бытие. Если бы это последнее, то есть анафематствованное, от всякого культа оторванное сознание стало бы строить свою философию, то оно, в свой черед, анафематствовало бы культ, ориентируясь на нем отрицательно, и обратилось бы к себе самому, к пустоте своей, делая ее предметом ориентировки положительной. И тогда неминуемо оно объявило бы духовные ценности как невыразимые, невоплотимые, как «истинно-личные» (Тареев), как «мэоны» (Манский) или как *Privatsache*, ибо, утверждая себя против культа, их отрицающего, — неизбежно отрицать свое отрицание, культ — или же покаяться и признать себя без культа немощными и пустыми.

Подобным образом делается понятным средневековое учение о степенях бытия; степени бытия — степени связности с культом, — ибо здесь-то, *in concreto* и дается система *entium realiorum*, окружающих и раскрывающих как символы *eus realissimum* — средоточие культа — абсолютный центр мироздания. И так далее, и так далее. Весь анализ наш посвящен именно этому разъяснению культовой основы философских понятий и философского значения культа. Поэтому довольствуемся пока этими немногими примерами для того, чтобы перейти к обсуждению самого культа как системы раскрывающих ориентировку культа святынь вообще, и прежде всего основных святынь — 7-ми Таинств.

4. ТАИНСТВА И ОБРЯДЫ

Начнем одним песнопением: «Надгробное рыдание творяще песнь «аллилуна»...». Избираю его именно как связующее многие стороны церковной жизни с одной точки зрения — как дающее некоторую об-

шую картину. Но знаю и о многом, мною опускаемом сейчас, отчасти, — чтобы говорить о нем впоследствии.

«Надгробное рыдание творяще песнь «аллилуиа»...». Вот изречение, в котором можно видеть характерное самосвидетельство культа — всякого культа, простирая частный случай, как пример, на иные, более широкие области. Будем же в своем суждении о культе исходить из этого именно примера. Тем более потому хочется сделать так, что тысячи поводов унывать искушают нас. Пусть же в отвлеченные обсуждения вольется тоненькая струйка проповеди: самая тоненькая, будьте к ней снисходительны. «Надгробное рыдание творяще песнь «аллилуиа»...» — слышим мы на каждой панихиде зов Церкви, объясняющей тем природу Богослужения. Это ведь значит в переводе: «превращающе, претворяюще, преобразующе свое рыдание при гробе близких, дорогих и милых сердцу, свою неудержимую скорбь, неизбежную тоску души своей — преобразующе ее в ликующую, торжествующую, победно-радостную хвалу Богу — в «аллилуиа» — в ту песнь, которая воспевается самими Силами Небесными, в то завершительное слово, которым увенчивает Дух Святой Отца — как Отца, и Сына — как Сына, то есть в слово последней радости, в песнопение высочайшего подъема; если угодно, то надгробное песнопение можно передать и так: «делая песнь «аллилуиа» — песнь «хвалите Бога» — надгробным рыданием, вместо надгробного рыдания».

Нечеловеческая, беспросветная, непреображенная тьма отчаяния делается человеческою, когда осветляется, когда преобразается, когда переходит в порывы хвалы Всевышнему. Непроницаемый покров тучи сердечной делается светлым. Не отменяется наша скорбь, не возбраняется, не отстраняется, не запирается в подполье души — нет. Это значило бы надорвать душу, это значило бы ожесточить ее, — с камнем на сердце стоящую на параде погребения. Это значило бы тупую боль животного оставить у животного — оставить человека животным. Но требуется иное: ее же, скорбь при гробе, претворить в величайшую радость духовную; — готовящуюся вот-вот сорваться хулу на Создателя — претворить в хвалу Ему; копошащееся на дне тоски и отчаяния проклятие — в благословение, «да не будет» — в «да будет», — словом — надгробное рыдание в надгробную песнь «аллилуиа». Требуется исцелить раны души — травмы души. (...) Выражение *τραβρατα τῆς ψυχῆς* — «раны души», «язвы души» находится во множестве разных молитв и песнопений. Так, в каноне Иисусу Сладчайшему (песнь 4-я, тропарь 1-й) слышим: «исцели души моя язвы»; в каноне ко Святому Причащению (песнь 3-я, тропарь 2-й) читаем: «язвы души» (и сравн. с этим песнь 4-ю, последний тропарь); в 7-й молитве ко Святому Причащению преподобного Симеона Нового Богослова говорится: — «струпы и язвы моя», то есть конечно струпы и язвы души; то же — у святого Василия Великого, говорящего о «застарелых ранах души» и так далее, и так далее (Святой Василий Великий, Творения, т. I, изд. 1917 г., с. 149—151).

Назначение культа — именно претворять естественное рыдание, естественный крик радости, естественное ликование, естественный плач и сожаление — в священную песнь, в священное слово, в священный жест. Не запрещать естественные движения, не стеснять их, не урезывать богатство внутренней жизни, а напротив — утверждать это богатство в его полноте, закреплять, возвращать. Случайное возводится культом в должное, субъективное просветляется в объективное. Культ претворяет естественную данность в идеальное. Можно было бы постараться подавить аффект. Но задержанный аффект сгноит душу и тело. Да и где граница допустимого и недопустимого? Кто устанавливал ее? — Что значит она, условная? По какому праву навязана она будет мне, потрясшему аффектом? И если вступить на путь борьбы с аффектами, то при-

дется в корне отринуть самую природу человека — бездну, аффекто-рождающую и в себе самой ничего кроме аффектов не содержащую. Вступить в борьбу с аффектами значит одно из двух: если она неуспешна — отравить человечество «загнанными внутрь страстями», если же удачна — оскотить и умертвить человечество, лишив его жизненности, силы, и наконец — и жизни самой. Культ действует иначе; он утверждает всю человеческую природу, со всеми ее аффектами; он доводит каждый аффект до его наибольшего возможного размаха, — открывая ему беспредельный простор выхода; он приводит его к благодетельному кризису, очищая и целя тем *τραβμάτα τῆς ψυχῆς*. Он не только позволяет выйти аффекту всецело, но и требует наибольшего его напряжения, вытягивает его, обостряет, как бы подсказывает, подстрекает на аффект. И, давая ему полное признание, утверждая аффект в правде его, культ преображает его. «Надгробное рыдание» претворяется в хвалебное «аллилуиа», восплаемое горé, земное — в небесное. Претворяется, ибо культ выявляет аффект и выявляет даже сильнее и могучее, нежели может выявиться аффект естественно. Культ отменяет запреты и зовет к запрещенному. Теперь аффект наш, сверху вызванный, существует уже сверхъестественно, более, чем естественно, и подчиняется не своим, а иным, неестественным ему законам, втянутый в пренебесный вихрь. II, втянутый, он кружится в нем, восходя выше и выше, дальше и дальше от нашего земного, субъективного бытия; теперь он перестал быть нашим случайным состоянием и сделался объективною вселенскою правдою.

Есть у Бальмонта немножко смешное стихотворение:

Мало плакать, надо стройно,
Гармонически рыдать.
Надо действовать спокойно,
Чтоб красивый лик создать.
Мало искренних мучений,
Ты ведь в мире не один...

Это, повторяю, сказано — не то жеманно, не то смешком, а все-таки правильно. «Надо стройно, гармонически рыдать» — ибо надо претворять жизнь в гармонию, — всю жизнь, во всех ее проявлениях. Разве не в этом культура? Не в этом человечность? Но как рыдать стройно, когда не умеешь, когда нет сил и вообще-то рыдать. И хотелось бы рыдать, но не находится рыданий, слов не находится — полная растерянность и мрак. Горе хочет излиться, но нет путей слезам: все окаменело. Внутренний напор, не находя исхода, потрясает нашу хрупкую оболочку, ранит душу, вот-вот разобьет наше бедное существо вдребезги. Но человек не оставлен одиноким в своей беспомощной субъективности, в своей собственной самозамкнутости, в своей условности. Есть область, где простые состояния возводятся к нормам: это — культ. Культ дает исход слезам, подсказывает такие рыдания, каких нам век не придумать, — такие адекватные, такие каждому свои, каждому личные, — плачет с нами и за нас, слова такие говорит, которые именно — то самое, что хотелось бы нам сказать, но что мы никогда не сумели бы сказать, словом — придает нашему хаотическому, случайно слагающемуся и, может быть, в нашем собственном сознании еще и неправомерному, мутному индивидуальному горю форму вселенскую, форму чистой человечности, возводит его в нас, а тем — и нас самих в нем — до идеальной человечности, до самой природы человеческой, сотворенной по Христову подобию, и тем переносит с нас наше горе на Чистую Человечность, на Сына Человеческого, нас же индивидуально разгружает, освобождает, исцеляет, улегчает. Он — Освободитель! И тогда, осветленное и прозрачное, уже не субъективно-личное, а объективно-онтологическое, не случайное, а в Истине предустановленное — горе наше делается двигателем жизни, памятью об уопшем, источником нашего оче-

ловечения. И не знаем мы уже, не получили ли мы больше, чем потеряли, не вознаграждены ли мы сторицею: ибо отверзлись истоки сладчайших слез и слов благоуханнейших. И так — во всем.

Слова любви, не сказанные мною,
В моей душе горят и жгут меня...

(Бальмонт)

Вот опять яркий пример поранения души, — поранения, произведенного задержанным аффектом: поперхнулся словом — и душа болит. Слово должно бы идти наружу и действовать; оно не могло не зажечь и не осеменить другую душу, ибо полно оно энергии, как сосуд переполненный. Но, не сказанное, оно ввинчивается в беременеющую им душу, жжет ее, разрывает, ранит. Анафема, несправедливо произнесенная, падает, по церковному учению, на голову ее произнесшего. Окультисты говорят о возвратном ударе при неудачном околдовании — инвольтовании. Так, всякое слово, не могущее войти, как предназначалось, в чужую душу, не имеющее простора быть высказанным до конца, врывается обратным ходом в самого высказавшего его или хотящего высказать и его ранит. Но не было (и нет) души человеческой, способной выслушать слово, однако есть Душа Человечества, Самое Человечество, Самая Человечность, которая бесконечно внимательнее всякой отдельной души способна выслушать всякое человеческое слово, да и не брезгливо, и не пренебрежительно, а охотно, ибо в нем открывается свой же отзвук. Да, человек выше того, чтобы слушать жгущие меня слова мои; но Чистейшая Человечность — Церковь — не погнушается и самым жалким моим лепетом. И вот приходит культ, берет на себя и в себя это жгущее меня слово, преобразует его — и душа моя исцеляется. Гнев ли, ярость ли, скука ли... — все берет на себя культ и все преобразует и до конца удовлетворяет: — до дна в культе испиваем мы самую эссенцию своего волнения, всецело насыщаемся, без малейшего оставшегося неудовлетворенного желания, — ибо культ дает всегда более, чем мы просим, и даже больше, чем можем мы хотеть. — бесконечно много, — и всегда, всегда на нас хватит этой сокровищницы человечности.

В нашей, православной службе есть что-то глубоко, глубоко близкое, что-то давно знакомое. Попадаете вы то там, то здесь какая-то особенно милая складочка, что-то личное. Многое воспринимается как полу-забытая записка любимого человека, но только чище и выше, без привкуса земной мути. В службе понимается ясное платоновское «припоминание». Ибо действительно, служба наша воспринимается как припоминание родного и давно знакомого. И это так. Служба наша древнее нас и наших родителей, древнее человечества, древнее самого мира. В ней во многом выражена самая сущность умного делания, самая сущность умной молитвы. Служба словно не сочинена, а открыта, обретена; то, что было давно — более или менее выражало сущность умной молитвы. Православие вобрало самый цвет мирового достояния и освободило от шелухи и оболочек: у нас — чистое, обмолоченное и провеянное, зерно религий, самая суть человечности. Всеянное в души, это зерно прозябает и возвращает в человеке человечность: оно-то и есть закваска человечности. Но само оно не психологично, а умно. Вот почему бесспорно, что служба наша — не от человеков, а от Ангелов, от умных Сил Небесных. Передаваемый от иерархии небесной, этот небесный светоч дошел до иерархов земных и стал на земле. Так разрушительные силы нашего существа распределяются системой пружин, осуществленных в культе, по нуждающимся в соответственных толчках сторонам жизни. Так разливается по каналам культа наше горе, наша радость, наши муки и наши избыточные порывы и орошают нивы нашей деятельности. Так немое и бескрылое волнение нашей души находит себе слово и улетает в мир высшего удовлетворения.

Но пока мы описываем лишь. Пора вдуматься, какова связь этого удовлетворения с характером культовой деятельности. Мы говорили раньше о деятельности осуществления и о деятельности осмысливания. Машина и смысл противостояли друг другу, объединяясь в культе. При этом мы старались уяснить, что существование культа есть трансцендентное условие единства самосознания, то есть самого Я. Речь шла у нас о деятельности человека. Но в чем коренятся эти деятельности? Где источник их двойственности? Чтобы проследить, откуда исходят та и другая, следует еще раз вникнуть в самые деятельности.

Построение орудий, поскольку оно не осмыслено, корнем своим имеет стихийное начало человека. Продолжая наше тело, эта деятельность по существу есть именно то, что строило наше тело. Она — прибор стихий. Это — слепая, напиральная мощь, не знающая никакого удержания, — не знающая, ибо действительно не познаёт его, не познаёт же, — сама не имея в себе смысла. Это — начало расторжения. Его называли началом дionисическим. Я предпочитаю назвать более точно или по крайней мере менее двусмысленно — началом титаническим. Титаническое — это значит из земли выросшее. Титаны — чада земли. Выросшее — оно эманативно, оно истекло из существа. Поэтому — безлико. Оно вечно алчет, вечно напирает, вечно бунтует.

Мы, Титаны, знаем лишь вины,
Ярем извечный, да горючий пламень,
Снедающий, злокозненный, голодный,
Да Матери голодную тоску...

Как волнородительная пучина морская, вечно бьется оно, начало титаническое, о прибрежные скалы, — его сжимающие, — восстает, и еще, и еще. Бессмысленно восстает, ибо вообще нет в нем самом смысла. Титаническое можно подавлять, но его не подавить; неусыпно бунтует оно против всякой грани, против *ύφρα*:

Мы выи не клоним
Под иго Атланта,
Но мятежимся нивами змей;
И ропщем, и стонем
В берегах адаманта,
Прометей.

(Вяч. Иванов. Сыны Прометей).

Безликое — это чистая мощь, — в которой начало вещей; это — рождающая бездна; это — слепой напор. Это начало родовое и само может быть названо родом — *γένος* — не в смысле историческо-социологическом, не как совокупность поколений, связанных между собою единством происхождения, имени и религии, семейного очага, а чисто метафизически: оно есть рождающая мощь рода. Тютчев знал эту темную подоснову бытия. Богословски же выражаясь, это начало реализации, эта полнота бытийственных потенций называется *ουσία*, *Οὐσία*, то есть *αἰτία* от *αἰρέ* — бытийственность.

Безликое старается волнами своими прорвать всякую преграду — всю «ограду закона», по выражению Талмуда, ибо закон есть грань и определенность, определение конца: «досюда — и не далее» предел мощи: «Доселе дойдешь, и волны твои в тебе сокрушатся». Но существо мощи — именно в раскрытии себя, доколе не иссякнет самая бытийственность ее. Существо титанического — в напоре и в борьбе против граней. Нахлынув, оно напирает, вздымается, бьется — о твердыни закона:

Невидим оковы
Светлозданного строя,
И под кровом родимых почей
Колеблем основы
Мирового покоя,
Прометей!

Лицо, то есть ипостасный смысл, разум, ум — разумею все это в античном и в святоотеческом смысле, — полагает меру безликой мощи человеческого естества, ибо деятельность лица — именно в мерности, в ограниченности в наложении определений и границ. Эту деятельность связывания и ограничения называют началом аполлинийским. Но удачно ли такое название — не уверен. Безликое притязает на место лица, ибо не знает лица как лица, не способно понять, что есть лицо и что есть оно. Титаническому все представляется как оно само — как течение Земли, как безликое. В грани, лицом полагаемой, оно видит только встречное же титаническое, не более. Предел ощущается им как безликая мощь, да как мощь же, ставшая поперек. В смысле — безликое видит лишь встречный поток. Иного оно и помыслить не может, — ибо само безлико. В этом-то и есть его слепота. Сопrotивление лишь вздымает волны: как горный ручей, мчитс я титаническое — всегда вниз; — но поставьте плотину — и оно разрушит горы. В нем нет удержу изнутри, — а раз так, то бесполезен всякий удерж извне, — бесполезен, то есть не успокоит, а только взволнует вечно-жидкую стихию титанического.

Начало титаническое, пока оно только хочет сделать нечто, но еще не сделало — героично, величественно, завлекает. Но замечательно: как только оно, бессмысленное, осуществит себя до конца — оканчивается ничтожным, гниет и смердит. Порывы неустроенной, не пронизанной смыслом и светом, не «умной», по святоотеческому выражению, личности кажутся красивыми: но дайте им волю — и, нагадив, личность сама сбежит от сделанного.

Ревет и бурлит величественным жерлом вода у мельницы: но, провавшись, разливается по заливным лугам мелкой лужей, оставляя вскоре комариное болото. Но над саморазложением титанического нечего злорадствовать: ведь это природа человеческая, источник деятельности, самая мощь человека подверглась тлению. С титаническим умирает, вопстину умирает, и самый человек, лишаясь блага — первого сокровища своего — мощи, творчества и жизни, как бы ни назвать его. И потому, нельзя его уничтожить — нельзя и не должно: «не научихомся телодубийцы быти», — говорит один святой. Нельзя уничтожать начало мощи. Но что же тогда делать с ним?

Титаническое, само в себе, — не грех, — а благо: оно мощь жизни, оно самое бытие. Но оно ведет ко греху. Всегда ли? Нет. Ибо и добро осуществляется той же стихийной силой — началом титаническим. Титаническое — потенция всякой деятельности. Оно — по ту сторону добра и зла. Оно — «часть тьмы, которая вначале всем была и свет и мрак произвела». Это оно пленяло Байрона и Лермонтова. Это на нем выросла античная трагедия. Это оно — Рок, ибо непреложно ведя, — столь же непреложно и губит.

«Познай меня, — так пела страсть, —
Я — смерть».

(Голенищев-Кутузов).

Понятие трагической вины связано с ним, ибо трагическая вина — есть вина не личности-ипостаси, а родовой основы ее, и, проявляясь во всех родичах, самым рождением, с жизнью самой лиясь из отца в сына, из родителей в детей и внуков, и правнуков, эта бытийственная вина, этот бунт в крови, этот порок самого существования ведет — помимо злого решения, помимо умысла — ведет личность к роковой развязке, ее, не ведающую сознательного проступка, но уже чувствующую свою обреченность и над собой всякий меч. Однако признать роковую усийную вину — это значит простить личность, простить же ее — значит перенести виновность, порчу, бунт — с нее — и на других, распространить на род, на народ, на самое человечество. Признать трагическую вину личности, значит осудить других, осудить самих себя. И

человечество, опасаясь осуждения, гневно восстает на лицо, его стараясь уличить — в вине личной, в ипостасном проступке против *υῦμος* α. Отстаивая себя, — отвергает вину такую лицо — или готово признать и такую вину, лишь бы не осудить себя в самой своей усии, в самом источнике своей жизни. В борьбе за мнимую ипостасную вину — героя и хора — существо трагедии: всякая трагедия есть столкновение понятий об усии и об ипостаси, — о вине бытия и вине смысла. Но столкновение это неразрешимо, и потому трагедия безвыходна. Даже если бы личность признала за собой усийную свою вину, не было бы исхода, ибо следствием тогда было бы самоистребление и не только одной личности, но и всего человеческого рода в первичных основах его бытия. Это самоистребление первичной воли и предлагается как единственный выход буддизмом, а за ним — А. Шопенгауэром и Э. Гартманом. Но мыслим, однако, и исход: если бы личность, не запятанная даже сетями греха ипостасного, взяла на себя роковую усийную вину человеческой воли, добровольно, и в себе самой человеческую непокорную усию просветила светом Смысла: тогда была бы в единой точке истреблена трагичность самого существования человеческого, то есть была бы спасена человеческая природа от порыва своего бытия. И это одно только было бы выходом, ибо титаническое не только сила греха, но и вообще сила жизни, и без него нет и самой жизни.

Это оно — стихия ночи, в которой воссиявает свет. Нет мощи — и ничего нет. Бессилен смысл, жалок разум, тщетна правда. Нет стихийности — нет и деятельности осуществления, и без нее — нет и реальности: ибо к корням бытия приникаем не иначе, как через свою усию (*ὄψια*). В мощи — правда титанического, — исконная и непреодолимая правда Земли. Ибо первая правда всякого бытия — само оно, данность его, и первая неправда — несуществование. И первое благо есть бытие, первое же зло — небытие. Бытийственность мощи уже есть первый камень Истины, и все остальное, что сюда присоединится, должно принять его, ибо, отвергнув мощь, — оно само будет отвергнуто мощью. *Νόμος*, извне ставящий преграду титаническому напору, сам неправ как подавляющий этот напор, но не просветляющий его; как показывающий напору только силу сопротивления и потому не вносящий в титаническое ничего нового. И, удовлетворившись или не удовлетворившись, титаническое и в том, и в другом случае снова забушует. Сдавленное в одном, — оно вознаградит себя в другом; разложившись теперь, — оно наберется сил и проявит себя потом. Неутолимость и неистребляемость титанического — отображение Божественной усии; дурная бесконечность человеческого хотения — образ положительной бесконечности сущности Божией, как Время — подвижный образ Вечности. Но Бог — не только *ὄψια*, но и *ὑπόστασις*, — не только Сущность, но и Лицо. И человек — не *ὄψια* только, но и *ὑπόστασις* — лицо. Нельзя понять религиозной антропологии, не продумав этих основных понятий святоотеческого богословия. Человек — не только темное хотение, но и светлый образ; не только стихийный напор, но и просвечивающий в реальности его лик, явно выступающий у святых, художественно показываемый на иконе. Это — и по смыслу и буквально: *ἴδω*; *idéa*, «облик человеческий»; значит Человек — не только бытие, но и правда, не только жизнь, но и истина, не только мощь, но и ум (*νοῦς*), не только плоть, но и дух. В Боге гармония усии и ипостаси. Лицо Божие всецело выражает Его Существо, Существо Его — всецело выражается Лицом Его. В человеке, напротив, антиномия полюсов не находится в гармонии; темная подоснова бытия восстает на лик, требуя от него реализации; лик поражает стихийное волнение, добываясь от него своей правды. В человеке есть две правды: образ Божий и подобие Божие, — правда бытия и правда смысла. Теоретико-познавательные обсуждаемые, они назывались нами требованием

данности и требованием доказанности познания. Теперь же, в метафизическом рассмотрении, мы будем называть их именно так: правда бытия и правда смысла, правда усии и правда ипостаси. Их — две. И, не совмещенные, они противоречат друг другу: дух воюет на плоть и плоть воюет на дух. Но это именно две правды. Их единство не может быть достигнуто на пути взаимных уступок. Бесконечные в своем стремлении, оба начала человеческого существа требуют бесконечности своего раскрытия, требуют предельного своего утверждения. Не в ограниченности каждого каждым, а во взаимном признании ими их безусловной правды — правды их Богоподобной бесконечности — может осуществиться их гармония, то есть цельность человека, не непосредственно в себе самих, но в своих абсолютных пределах только, и исчерпав свои бесконечные возможности, могут обрести они друг друга. Всякая остановка их на дороге есть ложь. Должно быть исчерпано искание бытийственности — достижением окончательной Божественной бытийности; должно быть исчерпано искание осмысленности — достижением окончательной Божественной осмысленности, — не иначе удовлетворятся оба начала человека. Достигнув же этих своих пределов в Боге разными путями, всё расходясь по дороге, оба начала человека придут к Одному, в Коем от века совмещена вся полнота реальности со всею полнотою смысла: — в Боге. В терминах гносеологических это будет: единство данности и доказанности, единство интуиции и дискурсии. В терминах онтологических — это будет Абсолютное Лицо. В терминах конкретно религиозных — Абсолютная точка религиозной жизни — абсолютная конкретность культа. Мы определили культ как деятельность совмещения смысла и реальности. Теперь мы снова подошли к тому же, исходя, однако, уж не из внешнего указания на человеческие деятельности, но из внутренних сил человеческой онтологии, на которых эти деятельности основываются.

Чтобы удовлетворить свою алчбу — беспредельной Реальности, надо человеку в беспредельном расширении своей титанической основы и преодолении своим напором всякой грани, всякой нормы, всякого смысла дойти, наконец, до смысла Абсолютного, до Смысла всех Смыслов, до Лица всех Ликов, до Самой Основы смысла как такового. И, насытившись, присно насыщаясь своим порывом и победой, посягнуть и на него... чтобы убедиться, что Верховный Смысл и есть сама Мощь, Верховная мощь, — то есть то, во имя чего, по правде чего человек ниспровергал все смыслы. Дойдя же в своем расширении до такого смысла, который, доставив ему удовлетворение абсолютной победы, вместе с тем оказывается и абсолютным поражением, — ибо правда Земли в своей вершине не иная, чем правда Неба, но та самая Правда, — человек, насытив аффект своего титанического гнева, осветляется и умиряется. Чтобы удовлетворить свое требование безусловной Истины, надо человеку в неуклонном освобождении себя от всего — только бытийственного, всякой реальности, — дойти, наконец, до реальности абсолютной, до Реальности всех реальностей, до Бытия всех бытий, до самой основной реальности как таковой. И тогда, — удовлетворенный своим восхождением, — потребовать и от нее, от абсолютной Реальности, ее доказательности, ее права на бытие... чтобы убедиться, что Верховная Реальность и есть сам Смысл, Верховный Смысл, то есть то, во имя чего человек отринул все данности. Дойдя в своем восхождении до такой реальности, которая дала бы ему надежность как абсолютно твердая точка бытия, дойдя до решительного места пути своего, разумно убеждается, что эта полнота реальности есть вместе и Абсолютный Смысл, то есть правда Неба — она же правда Земли, с которой боролся он. И тогда томление духа угаснет и отчаяние затепливается радостью обретенной Истины-реальности. Необходим и тот, и другой путь.